

ОБ ОДНОМ ОПЫТЕ “НАУЧНОЙ ПОЭЗИИ” У ПУШКИНА (“О СКОЛЬКО НАМЪ ОТКРЫТІЙ ЧУДНЫХЪ...”)¹

© 2009 г. Н. В. Перцов

В статье рассматриваются вопросы текстологии, возможные источники, житейский и литературный контексты незавершенного поэтического наброска Пушкина “О сколько нам открытий чудныхъ...”, относящегося к ноябрю–декабрю 1829 года.

The paper covers problems of textology, of probable sources, of biographical and literary contexts of the draft of the unfinished Pushkin's poem “Oh, what a lot of wondrous discoveries...” dated November–December of 1829.

Мысль об этой работе зародилась у меня после обсуждения с Максимом Ильичом Шапиром, последнего в нашем научном общении. Помню точную дату: понедельник 26 июня 2006 года; разговор в Отделе теоретической лингвистики Института языкознания, где Максим работал в последние неполные пять лет своей короткой жизни; первый день конференции “Между ложью и фантазией” (многим памятен блестящий и глубокий доклад Шапира на той конференции о стихотворении Федора Сологуба, прочитанный спустя два дня, в среду 28 июня; это было последнее в его жизни публичное научное выступление). Майя Валентиновна Ляпон спросила Максима об источниках неоконченного отрывка Пушкина; завязалась оживленная беседа, в которой и я принял участие. Через неделю с небольшим, за месяц до трагедии в Словении, будучи у Максима в гостях, я поделился с ним некоторыми своими соображениями об этом поэтическом наброске, получил с его стороны одобрение и сочувствие и решил заняться этой темой. Нельзя было предположить в тот вечер, что мы больше не увидимся и что Максим не прочтет моей работы. Ее я посвящаю светлой памяти выдающегося русского филолога.

Знаменитый поэтический набросок Пушкина “О сколько намъ открытій чудныхъ...”, оставшийся незавершенным в его рабочей тетради, пользуется необычайной популярностью. Как показывают данные Интернета, из всего пушкинского поэтического наследия эти пять строк цитируются наиболее часто. Отрывок цитируется целиком или частично, чаще всего – первая строка, реже – первые две, причем нередко с искажением – вместо множественного числа глагола “готовят” дается един-

ственное “готовит”; иногда искажение носит преднамеренный характер, например, вместо “нам” ставится “там”. Эти строки стали некогда эпиграфом телевизионной передачи “Очевидное – невероятное” – причем, знаменательно, что до начала девяностых годов пятая строка, с “Богом изобретателем”, в эпиграфе опускалась. Эстафету от этой передачи приняла радиостанция “Россия”, где короткая передача с названием “Календарь очевидного – невероятного”, посвященная знаменательным событиям в мире науки, приходящимся на соответствующую дату, завершается цитированием этих строк.

Насколько мне известно, это хрестоматийное стихотворение еще не было предметом подробного комментария. Между тем оно дает для такого комментария богатейший материал.

Набросок находится в рабочей тетради Пушкина, называемой “Первая арзрумская” [1, ед. хр. 841, л. 20]; он занимает нижнюю часть страницы, под “хвостом” незавершенного фельетонного прозаического наброска “Нѣсколько Московскихъ литераторовъ...”. Черновик неразборчив, читается с трудом; в неперебеленной части насчитывается 70 слов, из которых 57, т.е. более 80 процентов, зачеркнуто. Как это часто бывает в черновиках Пушкина, слова “мешаются” друг с другом, деление на строки затруднено, в работе ощущается некая поспешность, если не лихорадочность – “мысли в голове волнуются в отваге”. Написав несколько строк и основательно их перемарав, Пушкин стал перебеливать черновик, написал две с половиной строки – и остановился: далее работа не пошла. Ниже дается транскрипция рукописи; места неразобранных фрагментов отмечены в угловых скобках обычной аббревиатурой “нрзб” с указанием после нее предположительного количества букв в слове или слов во фрагменте (литера “б” –

¹ Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 07-06-00082а, “Разработка баз данных по неологии Хлебникова”) и Российского гуманитарного научного фонда (проект № 08-04-12127в, «Создание информационной системы “Корпус русской поэзии” в рамках Национального корпуса русского языка»).

сокращение для слова “буква” в нужной для соответствующего контекста грамматической форме). В транскрипции черновик отделен от перебелен-

ного фрагмента строкой астерисков – в рукописи же здесь в качестве границы выступает некое подобие небрежной виньетки.

Готовить ждутъ<?>
 емъ
 О_сколькѣ ждутъ открытій чудныхъ
 дѣятельный умъ
 Еще Готовятъ Умъ — и Трудъ <нрзб 2 слова>
 <нрзб 26> думъ<?> Готовить <нрзб 36> духъ Умъ
 Готовятъ намъ<?> вѣковъ <нрзб 56>
 Опыты <нрзб 46>
 И Геній Геній просвѣщенъ
 парадоксовъ другъ И Геній просвѣщенъ
 И — емѣльный духъ <нрзб 66>
 Геній<?> Опытъ
 елѣной<?> сынъ ошибокъ трудныхъ
 И случай другъ
 И — Случай , вождь <нрзб 26> <нрзб 56> вѣхъ
 елѣной
 Изобрѣтательный елѣнецъ
 И <нрзб 16> + Случай — Богъ — изобрѣтатель
 И — ты — елѣной изобрѣтатель
 * * * * *
 О_сколькѣ намъ_открытій чудныхъ
 Готовятъ просвѣщенъ духъ
 И Опытъ сынъ

То, что ныне предстает нам в воспроизведении этого отрывка, является соединением двух с половиной беловых строк – нижних строк транскрипции после строки астерисков – с тем, что удалось с большим трудом извлечь из находящегося над ними черновика. Однако последний настолько сложен для прочтения, что привычный для нас текст – по крайней мере, начиная со слов “сынъ ошибокъ трудныхъ” и до конца – может считаться принадлежащим Пушкину лишь с известной долей условности, что вообще характерно для многих незавершенных фрагментов Пушкина, восстановленных текстологами.

Сводка верхнего слоя черновика – так, как она может быть реконструирована по рукописи, – предстает в следующем виде (квадратные скобки, как это принято в текстологической нотации, отмечают зачеркнутые фрагменты):

О сколько намъ открытій чудныхъ
 Готовятъ просвѣщенъ духъ
 И Опытъ [сынъ] [ошибокъ] трудныхъ
 И Геній [парадоксовъ другъ]
 [И Случай Богъ изобрѣтатель]

Как читателю, вероятно, уже ясно, первые две строки и часть третьей до слова “сынъ” берутся из перебеленного “куска” внизу страницы; оставшиеся две с половиной строки гипотетически “собираются” из средней части черновика. При этом из двух вариантов последней строки выбрать нужный помогает знак +, поставленный автором. Девять слов черновика мне разобрать не удалось, а из совокупности разобранных слов (таковых шестьдесят одно) семь предположительны. Не могу не отдать должное разбору некоторых трудно читаемых слов в Большом Академическом собрании сочинений Пушкина [2, т. 3, кн. 1, с. 464]², в частности – прочтению словосочетаний “дѣятельный умъ” и “парадоксовъ другъ” [2, т. 3, кн. 2, с. 1059–1060]. Надо сказать, что в самом Большом Академическом собрании [2, т. 3, кн. 2,

² Предлагаемая здесь сводка отличается от той, которая представлена в [2], не только сохранением старого правописания, но и двумя деталями: слово “ошибокъ” в третьей строке и слово “другъ” в четвертой в черновике зачеркнуты, а в [2] предстают как незачеркнутые; кроме того, в предлагаемой мной сводке нет знаков препинания, как и в Пушкинском черновике – в [2] же даны запятые, разделяющие члены перечислительного ряда.

с. 1286] честь полного прочтения стихотворения приписана В.Е. Якушкину [3, с. 349], а первое опубликование его в собрании сочинений – В.Я. Брюсову [4, с. 315]. И то и другое неверно: в обоих случаях были воспроизведены только начальные две с половиной строки, причем с ошибкой (вместо “просвѣщенъ духъ” – “просвѣщенный духъ”, а у Брюсова еще и “вамъ” вместо “намъ”). По-видимому, впервые стихотворение появилось в привычном для нас облике именно в третьем томе Большого Академического собрания сочинений (общее редактирование которого осуществлял М.А. Цявловский).

Отрывок находится в той части тетради, которую обычно относят к ноябрю–декабрю 1829 г. [2, т. 3, кн. 2, с. 1286; 5, с. 95, 98; 6, с. 276]. В самом деле, несколькими страницами ранее этого отрывка, среди черновых строк стихотворения “Зимнее утро” (л. 17 об.), различается дата 3 ноября (“3 Ноя<бря>”), а несколькими страницами после него под стихотворным наброском “Поѣдемъ я готовъ: куда бы вы, друзья...” стоит дата 23 декабря (“23 дек.” – л. 26). Наш набросок по более темному цвету чернил отличается от соседствующих фрагментов тетради, но сходствует в этом отношении с более поздними фрагментами – в частности, с только что упомянутым наброском, датированным 23-м декабря, в связи с чем М.П. Алексеев – на мой взгляд, излишне категорично и жестко – относит его к 23–24-му декабря, считая, что Пушкин тогда вернулся к оставшейся свободной нижней части листа 20 и заполнил ее новыми стихотворными строками, составившими интересующий нас набросок [5, с. 98]³. Для меня же сейчас существенно то обстоятельство, что набросок был вписан в тетрадь в ноябре–декабре 1829 г. в Петербурге, куда 9 или 10 ноября Пушкин приехал из тверских поместий своих друзей, после путешествия в Арзрум.

Пушкин сразу же окунулся в водоворот деловой и светской жизни. Весть о его приезде распространилась по Петербургу мгновенно, о чем свидетельствует письмо от 10 ноября А.И. Пушиной, сестры декабриста, брату в Читинский острог: “Пушкин приехал, и я надеюсь, что он придет повидаться с нами и рассказать о Михаиле, вместе с которым он провел некоторое время на водах!” [7, с. 182] (перев. с франц.). После долгого отсутствия Пушкина в северной столице внимание петербургского света было направлено на “первенствующего поэта русского” (как назвал Пушкина в своем дневнике Алексей Вульф двумя годами

ранее). Через две недели, 24 ноября, А.И. Пушина снова пишет брату: “Пушкин пришел однажды утром, когда меня не было; поскольку на него очень большой спрос, вряд ли он в ближайшее время повторит свой визит, что меня очень огорчает” [7, с. 183] (перев. с франц.)⁴. В той же рабочей тетради, через две страницы после нашего наброска (на обороте листа 21), мы видим записанный в столбик список петербургских знакомых поэта, прерывающий черновик строк “Русалки” (точнее – диалог княгини и мамки в сцене “Светлица”):

<u>Gourief</u>	<Гурьев Александр Дмитриевич, граф>
<u>Langeron</u>	<Ланжерон Александр Федорович, граф, генерал от инфантерии>
Prince S. Gali	<Голицын Сергей Григорьевич, князь, поэт-дилетант, композитор>
<u>Idem</u>	
Fickelmon	<Фикельмон Дарья Федоровна, графиня, урожд. Тизенгаузен, внучка Кутузова>

По убедительному предположению Я.Л. Левкович [6, с. 265], это перечень лиц, которым Пушкин к моменту этой записи уже успел нанести визиты после приезда в Петербург, причем князя Сергея Голицына он посетил дважды, о чем свидетельствует *Idem* под именем последнего. А в воскресенье 24 ноября, в день именин Екатерины Андреевны Карамзиной и ее дочери Екатерины Николаевны, поэт должен был посетить семейство историка.

Вряд ли встречи с указанными лицами, далекие от науки, могли вдохновить поэта на строки, прославляющие мощь “духа просвещения” и “Гения”. Но кто же тогда? Каков был повод или поводы, натолкнувшие поэта на размышления о мощи науки?

Академик М.П. Алексеев посвятил проблеме “Пушкин и современная ему наука” пространное исследование, по существу – небольшую монографию в виде огромной статьи [5]. В ней он весьма убедительно предположил, что навести Пушкина на эту тему могло тесное общение с известным в то время ученым П.Л. Шиллингом (1787–1837) [5, с. 95 и сл.]. Павел Львович Шиллинг фон Канштадт был весьма разносторонним человеком: с 1827 г. он член-корреспондент Академии наук по разряду литературы и древностей Востока; в 1816 г. организовал первую в России литографию, был изобретателем электромагнитного телеграфа (осенью 1832 г. он впервые продемонстрировал свое изобретение) и изолированных кабелей. Были у него и другие достижения в элек-

³ Датировка, предлагаемая Я.Л. Левкович [6, с. 276], – “ноябрь, первая половина” – наоборот, представляется излишне ранней. Если принять во внимание соображения, высказываемые в настоящей работе, придется признать интервал создания обсуждаемого Пушкинского наброска весьма широким: середина ноября–декабрь 1829 г.

⁴ Письма А.И. Пушиной брату, хранящиеся в Отделе письменных источников Государственного исторического музея в Москве, автору настоящей статьи оказались недоступными из-за “заштабелированности” Шукинского собрания, в состав которого они входят; мне приходится цитировать их в переводе – так, как они даны в книге Н.Я. Эйдельмана [7, с. 182–183].

тротехнике: он проводил опыты по подземному зажиганию пороха посредством электричества на расстоянии, поражал современников светом горящих углей, пропуская через них гальванический ток. Пушкин знал об этих открытиях Шиллинга, с которым был знаком уже более десяти лет. Шиллинг был человеком веселым, остроумным, толстым, светским, привлекал к себе людей добродушием и любезностью.

Спустя 16 лет после смерти Шиллинга Н.И. Греч так его характеризовал в посвященной ему газетной статье: “Онъ былъ человекъ свѣтскій и веселый, и велъ жизнь достаточного, беззаботнаго холостяка. Вставалъ поутру не рано, потому что на канунѣ обыкновенно ложился поздно, занимался дѣлами, шутилъ и бесѣдовалъ съ друзьями, обѣдалъ всякій день въ гостяхъ, вечера проводилъ въ тихихъ бесѣдахъ и въ шумныхъ обществахъ, въ концертахъ, спектакляхъ, участвовалъ во всѣхъ пикникахъ и т.п. По происхожденію своему, по связямъ служебнымъ и общественнымъ, былъ онъ принятъ въ лучшихъ домахъ Петербурга, былъ дома и въ Вѣнѣ, въ Берлинѣ, въ Парижѣ. Добродушіе, природный умъ, неистощимая веселость, устраненіе отъ всякихъ интригъ, сплетней, и личныхъ пристрастій, заставляли всѣхъ знакомыхъ любить и уважать его. Люди серьезные, задумчивые, строгіе, любили его бесѣду, равно какъ и весельчаки. Никто, напримѣръ, не могъ такъ удачно развеселить и заставить смѣяться Дмитрія Васильевича Дашкова. Графъ Александръ Христофоровичъ Бенкендорфъ, въ его бесѣдѣ, находилъ отдохновеніе отъ своихъ трудовъ. И эти связи и знакомства употреблялъ онъ на добро: ни о комъ никогда не сказалъ онъ дурнаго или двусмысленнаго слова; напротивъ, служилъ всякому сколько могъ” [8, с. 568].

По одному лишь карандашному портрету Шиллинга, набросанному Пушкиным в альбоме Ел.Н. Ушаковой в 1829 или 1830 г. [9, с. 52, 310–312], можно судить о той теплоте и симпатии, с которыми поэт относился к прототипу.

Как раз в ноябре–декабре 1829 г. Шиллинг готовил экспедицию при посольстве в Восточную Сибирь и Китай, куда он пригласил и Пушкина. В январе следующего 1830 г. поэт подал прошение об участии в экспедиции – и в январе же получил от Бенкендорфа отказ. Но в ноябре–декабре Пушкин жил надеждой на долгую и интересную поездку, сулящую ему много “открытий чудных”; именно с этой несостоявшейся поездкой связывают упомянутый отрывок в той же рабочей тетради “Поедемъ я готовъ: куда бы вы, друзья...”, обращенный предположительно к Шиллингу и другому участнику экспедиции – отцу Иакинфу, в миру Никите Яковлевичу Бичурину, ученому священнику, синологу.

Другое, весьма остроумное, предположение о возможных импульсах к написанию “научных” строк было высказано доктором медицины С.М. Громбахом; оно достойно обширного цитирования:

«В этом отрывке Пушкин по существу вступил в полемику с известным афоризмом Гиппократов: цитируемый обычно в его усеченном варианте – *vita brevis, ars longa* (жизнь коротка, искусство долговременно), он имеет продолжение: *occasio autem praeseps, experimentum periculosum, iudicium difficile*, где “случай” характеризуется словом *praeseps*, что означает “мимолетный, стремительный, скоропреходящий, рискованный”, а “опыт” сопровождается эпитетом *periculosum*, т.е. “опасный”» [10, с. 32].

Далее Громбах пишет о том, каким образом перевел этот афоризм “современник Пушкина выдающийся русский врач профессор М.Я. Мудров”; ниже соответствующий фрагмент сочинения Мудрова – его “Слова о благочестии и нравственных качествах Гиппократова врача...”, произнесенного в октябре 1813 г., – приводится в расширенном виде и в аутентичном облике:

«И такъ, приступая къ нравственному учению Гиппократу, я предваряю васъ, любезные юноши, что Гиппократъ, проникнутый великостію предмета своего, требуетъ отъ васъ безпрестаннаго учения и упражненія до конца жизни вашей. Рускую пословицу: *Вѣкъ живи, вѣкъ учись*, онъ изобразилъ въ первомъ афоризмѣ: “Наука наша, говоритъ онъ, такъ длинна, что цѣлая жизнь для нее коротка, время такъ ѣдко и быстро, что случай въ ономъ скоротеченъ, опытъ опасенъ, сужденіе трудно. Надобно, чтобы врачъ не только себя одного показывалъ дѣятельнымъ и прочнымъ помощникомъ больному, но и самаго больного и предстоящихъ и всѣ вещи, его окружающія”» [11, с. 10–11].

Возвращаемся к изложению Громбаха:

«Пушкин же, как видим, совершенно иначе воспринимает опыт, дает ему оценку, свободную от отрицательных черт и лишь указывающую на его трудность. <...> Случай же Пушкин лишает оттенка опасности, присущего ему у Гиппократов, и, наоборот, воспринимает его как источник находок, изобретений. В этом он близок к идее современного ему историка, философа и дипломата Ф. Ансильона <в сноске дается ссылка: *Pensées sur l'homme, ses rapports et ses intérêts, par Frederic Ancillon, Berlin, 1829*>. Весной 1829 г. П.Я. Чаадаев, посылая Пушкину только что вышедшую книжку Ансильона, в сопроводительном письме адресовал поэту много лестных слов и рекомендовал ему воспользоваться этой работой, которая, “быть может, наведет его на удачные мысли” [2, т. 14, с. 44; подлинник по-французски]. Среди прочих содержащихся в этой книжке суждений “обо всем понемногу” (если воспользоваться определением Чаадаева) Ансильон утверждал, что в истории наук и искусств большую роль играл случай и что многие открытия в науках обязаны своим происхождением счастливым уклонениям, зигзагам (*sailies*), приводящим к непредвиденным находкам» [10, с. 33–34].

В переводе афоризма Гиппократов у М.Я. Мудрова мы видим ключевые слова Пушкинского отрывка – *случай, опытъ, трудный*. Правда, знакомство Пушкина с сочинением Мудрова, содержащим этот перевод, проблематично: оно отдалено от 1829 г. значительным временным интервалом в 15 лет. Громбах приводит еще одну цитату из Мудрова, существенную в свете обсуж-

даемого стихотворения, – из “нарочитой лекции” последнего “О пользе врачебной Пропедевтики, то есть Медицинской Энциклопедии, Методологии и Библиографии...”, прочитанной 3 октября 1828 г. в Московском университете и изданной отдельной брошюрой в том же году, – настоящий панегирик медицине: “Наука не стоит на одном месте; она, подобно великой реке, беспрестанно течет вперед и ничем остановлена быть не может” [10, с. 38; 12, с. 277]. Громбах отмечает: “<...> Мудров был домашним врачом и близким другом родителей поэта, и не исключено, что текст этой речи был Пушкину известен”. Можно предположить также, что поэт беседовал со знаменитым врачом, а тогда мысли о прогрессе медицины и науки вообще могли обсуждаться в непосредственном живом общении. Предположение Громбаха о влиянии на поэта книги Ф. Ансильона также выглядит вполне доказательно.

Высказанные М.П. Алексеевым и С.М. Громбахом гипотезы относительно источников Пушкинских “научных” строк представляются весьма вероятными. Однако есть еще одно имя, которое, как я полагаю, должно быть названо в данной связи: это барон Александр Гумбольдт, выдающийся немецкий естествоиспытатель и путешественник, один из самых известных ученых первой половины XIX века. Весь ноябрь 1829 г. Гумбольдт прожил в Петербурге. Как сообщила во вторник 5 ноября в номере 133 “Северная Пчела”, он приехал в столицу 1 ноября после семимесячного путешествия по России, во время которого доехал до Урала, Алтая, до границы с Китаем, посетил приволжские города, дважды был в Москве. И Пушкин, и Гумбольдт оба вернулись в Петербург после длительных путешествий (правда, в разных направлениях); и на того, и на другого было направлено пристальное внимание петербургского общества. Знаменательно, что именно в день экстраординарного заседания Императорской Российской академии наук в честь Гумбольдта, на которое за три дня до этого “Санктпетербургские Ведомости” (№ 136 от 13 ноября) приглашали “господь Ученых и Любителей наук здѣшней столицы”, – именно в этот день, в субботу 16 ноября, “Северная Пчела” на второй полосе в разделе “Литературныя известія” (№ 138) извещала петербуржцев о прибытии в северную столицу первого поэта России:

“Александръ Сергеевичъ Пушкинъ возвратился въ здѣшнюю столицу изъ Арзрума. Он былъ на блистательномъ поприщѣ побѣдъ и торжествъ Русскаго воинства, наслаждался зрѣлищемъ любопытнымъ для каждаго, особенно для Русскаго. Многіе почитатели его Музы надѣются, что онъ обогатитъ нашу Словесность какимъ нибудь произведеніемъ, вдохновеннымъ под тѣнью военныхъ шатровъ, въ виду неприступныхъ горъ и твердынь, на которыхъ мощная рука Эриванскаго героя водрузила Русскія знамена”.

Это извещение столь же торжественно, что и возвышенный панегирический тон упоминаний Гумбольдта в прессе того времени. Замечу, что в ней за время пребывания Гумбольдта в России обнаружилось около пятидесяти публикаций о нем разной степени подробности (больше всего в “Санктпетербургских Ведомостях” – 20 раз), причем одни печатные периодические издания нередко перепечатывали материалы из других.

Можно сказать, что в ноябре 1829 г. Пушкин и Гумбольдт “гремели” в петербургской светской жизни, и невозможно представить себе, что они могли не встретиться в этот осенний месяц⁵. И они встретились: документально зафиксирована их встреча 28 или 29 ноября в светском салоне у Е.М. Фроловой-Багреевой (дочери М.М. Сперанского), как это явствует из записи в дневнике Елены Шимановской от 29 ноября:

“Вечером мы поехали к госпоже Багреевой, где мама представила меня Александру Гумбольдту. Там был также А. Пушкин” (цит. по [14, с. 156]; подлинник по-польски).

Гумбольдт был личностью необычайно привлекательной, характерологически он был похож на Шиллинга. Многие современники – и в частности в российской прессе того времени – отмечали его любезность, светскость, доброжелательность, внимание к собеседнику, разносторонность. Спустя десять лет после пребывания Гумбольдта в России Н.И. Греч пишет в своих путевых очерках:

“И ничто важное для человека не чуждо благородной и возвышенной душѣ его: и естественная исторія, и лингвистика, и изящныя искусства и высшая математика; и изученіе древнихъ и основательное познаніе исторіи и политики – все ему коротко извѣстно. <...> и при этихъ отличіяхъ, при этомъ всеобщемъ триумфѣ, никѣмъ не оспориваемомъ, онъ добродушенъ, кротокъ, учтивъ, предупредителенъ до крайности, и никакъ не даетъ чувствовать своего превосходства” [15, с. 220].

Другое свидетельство, одно из многих подобных, из статьи П.И. Шаликова в “Московских Ведомостях”, относится ко времени пребывания Гумбольдта в России (подчеркивания в цитатах здесь и ниже принадлежат автору настоящей статьи):

“Начавъ разговоръ тотчасъ послѣ первыхъ поклоновъ, онъ не умолкалъ почти ни на минуту. Но это не есть говорливость въ обыкновенномъ смыслѣ – нѣтъ! а свободно текущій ручей по злачному лугу, отражающій въ себѣ то лучи солнца, то цвѣты, по берегу растущіе, – всегда пріятный для слуха, всегда усладительный для жажды. <...> Гумбольдтъ имѣетъ удивительный даръ заговорить съ каждаго, хоть немного знакомымъ ему лицомъ, такъ, какъ будто совершенно знаетъ сумму его свѣдѣній, степень его просвѣщенія, и такимъ образомъ, что приводитъ въ забвеніе собственную свою необъятную ученость, по-

⁵ Об общении Пушкина и Гумбольдта см. две публикации Л.А. Черейского [13, с. 249–256; 14, с. 156–157].

ставляя слушателя своего въ состояніи поддерживать разговоръ безъ всякой трудности <...> фizioномія Барона Гумбольдта, не имѣющая въ себѣ ничего особеннаго, одушевляется во время разговора какимъ-то необыкновеннымъ движеніемъ, похожимъ на улыбку, мгновенно исчезающую, между тѣмъ какъ небольшіе, но пронизательные сѣрые глаза его успѣваютъ, кажется, взглянуть на cadaго, сколь бы кругъ слушателей его ни былъ великъ; но вотъ черта, можно сказать, единственная въ подобномъ челоѣкѣ: не взирая на глубокое вниманіе сихъ послѣднихъ, не взирая на риторское владычество его, никогда *самодовольствіе* не скажется въ немъ ни подъ какимъ видомъ. Взаимное вниманіе, заботливая учтивость, ненарушимая скромность: вотъ внешняя характеристика Барона Александра Гумбольдта!” [16, с. 4115].

В связи с манерой речи Гумбольдта “водные” ассоциации возникали и у других его современников. В петербургском свете ходила острота Пушкина, известная по пересказу П.И. Бартенева в “Русском Архиве” 1865 г. Бартенов, услышавший ее скорее всего от кого-то из знакомых Пушкина, напечатал в своем журнале дополнение к анонимному рассказу адъютанта тобольского губернатора о его поездках с Гумбольдтом по Сибири:

«Гумбольдтъ, какъ извѣстно, при всей основательности нѣмца, отличался необыкновенной любезностью и обязательностью, какія преимущественно даны только французамъ. Къ тому же онъ былъ словоохотливъ до чрезвычайности. Пушкинъ, встрѣчавшійся съ нимъ въ Петербургѣ, сказалъ про него одной дамѣ: “Не правда ли, что Гумбольдтъ похожъ на тѣхъ мраморныхъ львовъ, что бываютъ на фонтанахъ? Увлекательные рѣчи такъ и бьются у него изо рта”. Вѣроятно, это сравненіе относилось и къ внѣшности знаменитаго барона” [17, стб. 1141].

Об остроте Пушкина русское общество узнало в печати еще за четверть века до публикации Бартенева из статьи литератора Н.А. Мельгунова, встречавшегося с Гумбольдтом в 1836 г. в Берлине:

“Въ началѣ, не столь еще разговорчивый, онъ болѣе разспрашиваетъ, чѣмъ говоритъ, желая какъ-бы вывѣдать мой образъ мыслей и мою степень образованности; но потомъ, одушевляясь понемногу, онъ овладѣлъ разговоромъ, и рѣчь его текла почти безостановочно, какъ у тѣхъ мраморныхъ львовъ, по сравненію покойнаго Пушкина, у которыхъ вода течетъ двойною струей изъ обѣихъ оконечностей рта, справа и слѣва” [18, с. 94–95].

К этому месту статьи Мельгунов делает следующее примечание, добавляя еще третью “водную” ассоциацию, возникшую в отзыве Гете в беседе с Эккерманом:

«Все, что бы ни было сказано об умѣ, всеобъемлющей учености и оживленной бесѣдѣ Гумбольдта, покажется слабымъ послѣ того, что говорилъ о немъ Гете Эккерману: “<...> Чего ни коснись – онъ вездѣ дома и забрасаетъ васъ своими умственными сокровищами. Онъ похожъ на водоемъ со многими жолобами, подъ которыми стѣбитъ только держать кувшины и откуда вода неизтощимо льется для прохлады нашей. <...>”. – Примѣчательно, что Гете, говоря о Гумбольдтѣ, употребилъ то же сравненіе, какое въ разговорѣ употребилъ и

Пушкинъ гораздо до появленія книги Эккермана. Разница лишь въ тонѣ» [18, с. 94–95].

Ясно, что все три ассоциации (у Гете, Шаликова и Пушкина) друг от друга независимы.

Мы хорошо знаем и о том, сколь увлекательна могла быть и беседа Пушкина – и можно себе представить, какой пылкий и живой разговор состоялся между этими блистательными собеседниками и рассказчиками в гостиной у Фроловой-Багреевой! Неутомимый Гумбольдт за день или два до этого в светском салоне А.Н. Оленина затеял беседу о ненужности конечного ера в русском языке⁶, которому пробовал обучаться за долго до поездки в Россию – правда, не слишком успешно.

Здесь хотелось бы коснуться сюжета, непосредственного по обсуждаемой темой не связанного, – сказать об отношении Гумбольдта к русскому языку – языку той страны, в которой он провел восемь месяцев 1829 года. Гумбольдт еще в ранней молодости мечтал о поездке в Россию (в Сибирь, в Крым, на Кавказ), о чем он писал 11 июля 1793 г. сенатору В.Ю. Соймонову, управляющему Барнаульскими горными заводами [20, с. 27–28]. В письме А. Ренненкампу (бывшему переводчиком на русской службе) от 7 января 1812 г., выражая желание “проехать через всю Азию под 58° и 60° широты от Екатеринбурга, Тобольска, Енисейска, Якутска до вулканов Камчатки и побережья Южного моря <Тихого океана>”, он писал: “Мне хотелось бы, чтобы большинство ученых были русскими; они способны более мужественно переносить невзгоды в пути и не так сильно будут стремиться вернуться домой. Я не знаю ни слова по-русски, но я стану русским, как стал испанцем; все, что я предпринимаю, я выполняю с увлечением” [20, с. 31]. В том же письме среди “великих задач” предполагаемого путешествия он называет такую, сугубо лингвистическую – “произвести исследования по истории народов и языков для расширения многоязычного словаря, начатого по не вполне научному плану, поскольку из него исключены грамматические аналогии <...>” (здесь ощущается влияние брата, выдающегося лингвиста Вильгельма фон Гумбольдта). Планам путешествия по России, вынашиваемым Гумбольдтом в течение тридцати лет, суждено было получить реальные очертания лишь в 1827 г.; 19 ноября 1827 г. Гумбольдт писал министру финансов Е.Ф. Канкрину: “Я надеюсь использовать первый же досуг, который мне представится, на лучшее ознакомление с русским языком, чтобы иметь возможность пользоваться Горным журналом, содержащим так много интересных сведений” [20, с. 48]. А уже незадолго до отъезда в столь давно чаемую Россию в письме тому же адресату (от 10 января 1829 г.) ученый повторил тот же мотив: “Кого и сколько людей Вы мне дадите, я все приму с благодарностью. Я предпочитаю русских, потому что очень хочу серьезно заняться языком вашей страны, без которого остаешься чуждым жизни наро-

⁶ О том, что за этим последовало, – о письме А.А. Перовского Гумбольдту, защищавшем от нападков эту злосчастную букву русской азбуки и написанном от лица ее самой, и о публикации “Новая тяжба о буквѣ Ъ” (Литературная Газета, 1830, т. 1, № 22, 16 апреля, с. 172–177) – см. в [19, с. 263–291].

да” [20, с. 62]. Видимо, скромные успехи Гумбольдта в изучении русского языка отчасти объясняются прерывистым характером его занятий: планы поездок в Россию в 1812 г. и в середине 1810-х были сорваны, а уже тогда ученый пробовал овладеть нашим языком. Непосредственно же перед поездкой в Россию давал себя знать и возраст ученого, встретившего в России 2 сентября 1829 г. свое 60-летие. Сопровождавший Гумбольдта в его поездке горный инженер Д.С. Меньшин (впоследствии горный инспектор Уральского округа) писал об этом дне: “Всѣ Горные офицеры, случившиеся на Мияскомъ заводѣ, рано поутру, въ мундирахъ, явились къ знаменитому старцу, и одинъ изъ нихъ, отъ лица всѣхъ, поздравилъ неумолимого путешественника, праздновавшаго сей день на высотахъ Кордильеровъ Новаго Свѣта и нынѣ встрѣтившаго 61 годъ своей славной жизни въ срединѣ хребта Уральского” [21, с. 257].

В России светское и научное общение Гумбольдта было ограничено двумя языками – французским и немецким. Из литературы мне известен лишь один случай его обращения к русскому языку – из сообщения его спутника Г. Розе: начальник китайского поста, молодой стройный мужчина “торжественно принял путешественников в киргизской юрте, где Гумбольдт и его спутники расположились на покрытых коврами ящиках. После того как был подан чай, Гумбольдт поблагодарил хозяина по-русски и переводчик перевел его слова на китайский язык. Затем китаец спросил, чего хочет почтенный гость в этой стране <...>” [22, с. 269].

Однако упорство немолодого ученого и его огорчение от невозможности использовать русский язык так, как ему было нужно, воистину поразительны! Уже после путешествия по России он продолжает сокрушаться по поводу незнания языка, которым ему так хотелось овладеть. 2 июня 1830 г. он пишет Канкрину: “За вашу инструкцию по лесному делу <проект лесного законодательства> в Вашей обширной империи приношу Вам свою сердечную благодарность. Когда-нибудь я смогу прочесть эту книгу, которую пока передал в королевскую библиотеку, потому что я все еще беру уроки русского языка. Как было бы хорошо, если бы ее перевели!” [20, с. 104]. Через семь лет в письме Г.П. Гельмерсену (геологу, путешественнику, профессору Горного института) от 9 апреля 1837 г. Гумбольдт снова вспоминает о своей ограниченности в отношении русского языка: “Меня очень радует, что Ваш труд <“Об Урале и Алтае”> будет напечатан; читая его, можно будет почувствовать, какие преимущества дает знание местного языка и возможность изучать все со свежей головой” [20, с. 129].

После обширного отступления возвращаемся к нашей теме. 28 ноября, т.е. на следующий же день после беседы в салоне Олениных (и за день до встречи с Пушкиным в доме Фроловой-Багреевой), Гумбольдт посетил “Русский Музеум” у писателя, собирателя древностей П.П. Свиньина. Известно, что немецкий ученый живо интересовался “Историей” Карамзина – и вообще Россией и ее культурой. Как видно, тем для разговора у поэта и ученого было много, они могли рассказать друг другу много интересного, вынесенного из путешествий, осуществленных в одно и то же время. Через семь лет Гумбольдт вспомнит о

Пушкине, как об этом свидетельствует в упомянутой статье Н.А. Мельгунов:

«Онъ вспоминает съ удовольствіемъ, хотя не безъ улыбки, ему свойственной, о радушномъ гостепріимствѣ Москвы, о вечерахъ, которые давали ему въ честь и на которыхъ каждый вмѣнялъ себѣ въ обязанность говорить съ нимъ впрямь и вкосъ “о Байронѣ и о матеряхъ важныхъ”; онъ вспоминалъ о нѣкоторыхъ знакомыхъ ему лицахъ, спрашивалъ о Пушкинѣ, бывшемъ тогда еще во всемъ цвѣтѣ жизни, и въ особенности объ историческомъ трудѣ его <...>» [18, с. 93–94].

В ноябре 1829 г. Пушкин мог встретиться с Гумбольдтом не только у Фроловой-Багреевой. И тот и другой посетили тогда множество светских салонов. О своих светских и научных визитах Гумбольдт упоминает в письмах С.С. Уварову, относящихся ко времени его петербургского “сидения” [23, лл. 204, 205, 207]. А у Пушкина среди четырех имен в приведенном выше списке из его рабочей тетради есть такие, которых вполне мог посетить и Гумбольдт. Итак, они могли познакомиться и раньше 28-го ноября.

Однако даже если эта встреча была и единственной, “гумбольдтовские впечатления” Пушкина ею не ограничивались. На экстраординарном заседании Академии наук 16 ноября Пушкин, скорее всего, не был⁷ (Шиллинг же наверняка был). Однако поэт о Гумбольдте безусловно читал в прессе и слышал от знакомых. Через четыре дня после заседания в Академии наук в приложении к номеру “Санктпетербургских Ведомостей” (№ 139 от 20 ноября) появился перевод речи Гумбольдта, произнесенной на упомянутом заседании, в котором внимание поэта мог привлечь следующий фрагмент:

“Я означилъ здѣсь совокупность усилій, посредствомъ которыхъ изслѣдованы были разныя части сей Имперіи съ помощію новыхъ познаній, новыхъ инструментовъ, новыхъ методъ созерцанія, основанныхъ на сходствѣ доселѣ неизвѣстныхъ событій. <...> Восхищавшись во время путешествія сокровищами ископаемаго царства и чудесами физической природы, вмѣняю себѣ въ пріятную обязанность указать въ странѣ чуждой среди внемлющаго словамъ моимъ собранія на умственные сокровища народа, на труды мужей, кои, съ безкорыстною преданностію посвятивъ себя наукамъ, странствуютъ по своему отечеству или въ уединеніи кабинета мыслями предупреждаютъ и путемъ вычисленія и опыта заготовляютъ будущія открытія”.

Здесь мы встречаем два слова – “опытъ” и “открытія”, столь важные для обсуждаемого поэтического наброска Пушкина. Заманчиво предположить, что либо непосредственно по прочтении этой речи немецкого ученого, либо после беседы (или бесед) с ним в светском салоне (или салонах), либо уже после отъезда Гумбольдта из России,

⁷ Если бы Пушкин посетил заседание в Академии наук 16 ноября, это, думаю, было бы отражено в мемуаристике или эпистолярной.

имевшего место 3 декабря (скажем, по прочтении в номере 151 “Северной Пчелы” от 17 декабря *Письма къ Издателямъ* о “Встрѣчѣ со знаменитымъ Гумбольдтомъ въ Русскомъ Музеумѣ П.П. Свинына”⁸), поэт прервал в рабочей тетради работу над текущими замыслами и на свободной от записей половине страницы, торопясь и зачеркивая слова, набросал вдохновенные “научно-поэтические” строки.

Итак, мы видели, что импульсами к написанию наброска “О сколько намъ открытій чудныхъ...” могли быть мысли Гиппократы, Ф. Ансильона, М.Я. Мудрова, П.Л. Шиллинга и А. Гумбольдта; с последними тремя Пушкин мог обсуждать эти мысли в непосредственном общении. “Гумбольдтовский вклад” мне представляется наиболее значительным.

Несколько слов об историко-литературном контексте стихотворения. М.П. Алексеев в упомянутой работе нарисовал подробную картину того, что в Европе и в России «получило наименование “научной поэзии”», прославляющей науку и ее деятелей; начало “научной поэзии” ведется от середины XVIII века [5, с. 45–61]. Дань ей отдали во Франции – среди многих прочих – Вольтер, Делиль, Андре Шенье, все они герои пушкинских стихов. Пушкин был хорошо знаком с французской научно-художественной литературой и просветительской философией XVIII века.

И в России “научная поэзия” процветала. Ее образцы оставили Кантемир, Ломоносов, его ученик Поповский, молодой Херасков, Бобров, Радищев и поэты-радищевцы: Пнин, Бенитцкий, Ленкевич, Попугаев; поэт-сентименталист Михаил Муравьев; молодой Карамзин с его интересом к Ньютону – эти имена называет Алексеев в связи с вопросом о научно-поэтическом контексте в творчестве Пушкина. Мне представляется, что пафос нашего отрывка ближе всего к “научной поэзии” Ломоносова. Вряд ли может у кого-либо возникнуть сомнение в том, что по поэтической силе и глубине наш набросок превосходит все, что в российской поэзии было сказано о науке.

Поэтический пафос наброска уникален в Пушкинском творчестве. Можно, правда, вспомнить в связи с ним “индустриальный пейзаж” будущего, нарисованный в седьмой главе “Онегина”: “Мосты чугунные чрезъ воды / Шагнутъ широкою дугой; / Раздвинемъ горы, подъ водой / Пророемъ дерзостные своды”; однако этот торжественный тон сразу прерывается иронией: “И заведетъ крещенный міръ / На каждой станціи трактиръ”. В са-

мом деле, одическая торжественность, восторженная возбужденность, “моновалентность” нечасты в поэзии Пушкина – может быть, оттого и застопорилось поэтическое вдохновение и великое стихотворение осталось недоработанным.

Пять строк отрывка составляют одну восклицательную фразу с протяженной группой подлежащего из четырех однородных членов, с интонацией незавершенности, создаваемой незавершенностью самого стихотворения: последняя строка начинается новый строфид, тут же обрывающийся. Сочинительная перечислительная конструкция, которая вообще свойственна стиху как модусу речи, для Пушкинского стиля характерна особенно. Все лексемы наброска у Пушкина не уникальны. Среди них особенное внимание привлекает *случай* – слово у него весьма частое. Однако в значении ‘непредвиденное положение вещей, случайность’ в стихотворных строках Пушкина оно встречается только здесь. Загадочным, даже таинственным, выглядит грамматическое приложение к слову *случай* – “Богъ изобретатель”, по структуре соотносящееся с языковым клише *Богъ Вседержитель*.

Может быть, Пушкин вспомнил этот свой зачеркнутый стих, когда год спустя набрасывал критическую заметку (<“О втором томе “Истории русского народа” Полевого”>) – одну из многих, написанных в знаменитую первую Болдинскую осень 1830 г. [1, ед. хр. 921, л. 2]; ср.: [2, т.11, с. 127].

“Не говорите: *Иначе нельзя было быть*<.> Коли было бы это правда, то Историкъ былъ бы Астрономъ, и событія жизни челоѣч.<ества> были бы предсказаны въ календаряхъ<,> как и затмѣнія солнечныя. Но <П>ровидѣніе не Алгебра. Умъ ч.<еловѣческій>, по простонародному выраженію, не пророкъ<,> а угадчикъ, онъ видитъ общій ходъ вещей и можетъ выводить из онаго глубокія предположенія, часто оправданныя<я> временемъ<,> но не возможно ему предвидѣть *Случая* – мощнаго, мгновеннаго орудія <П>ровидѣнія”.

Не этому ли “орудию Провидения”, соединившему в Российской столице поздней осенью 1829 года великого поэта и великого ученого, обязаны мы гениальными строками, оборванными почти на полуслове и навечно вошедшими в русскую поэзию и русскую культуру?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом). Рукописный отдел (С.-Петербург), ф. 244 (А.С. Пушкин), оп. 1.
2. *Пушкин* [А.С.] Полное собрание сочинений. Т. 1–17. [М. Л.:] Изд-во АН СССР, 1937–1959.
3. *Якушкин В.Е.* Рукописи Александра Сергеевича Пушкина, хранящиеся в Румянцовском музее в Москве // *Русская старина*. 1884. Т. XLIV.

⁸ Эта корреспонденция подписана инициалами *Б. Ф* – въ, за которыми легко узнается литератор Б.М. Федоров (известный в литературных кругах как “Борька”, с легкой руки Дельвига, осмеявшего его в эпиграмме “Федорова Борьки / Мадригалы горьки ...”).

4. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений со сводом вариантов и объяснительными примечаниями в 3 томах и 6 частях. Т. 1. Ч. 1 / Редакция, вступительная статья и комментарий Валерия Брюсова. М., 1919.
5. Алексеев М.П. Пушкин и наука его времени // Алексеев М.П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л.: Наука, 1984.
6. Левкович Я.Л. Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 841 (История заполнения) // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XII. Л.: Наука, 1986.
7. Эйдельман Н.Я. Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений. М., 1979.
8. Греч Н.[И.] Барон Павел Львович Шиллинг фон-Канштатъ // Северная Пчела, 1853, № 142, 30 июня.
9. Альбом Елизаветы Николаевны Ушаковой. Факсимильное воспроизведение. СПб.: Logos, 1999.
10. Громбах С.М. Пушкин и медицина его времени. М.: Медицина, 1989.
11. Мудров М.Я. Слово о благочестии и нравственных качествах Гиппократова врача, на обновление в Императорском Московском университете медицинского факультета в торжественном его собрании 1813 года Октября 13го дня, произнесенное <...> Матфием Мудровым. М., 1814.
12. Мудров М.Я. Избранные произведения. М., 1949.
13. Черейский Л.А. Пушкин и Александр Гумбольдт // Пушкин. Исследования и материалы. Т. I. М.; Л.: Наука, 1956.
14. Черейский Л.А. Пушкин и Александр Гумбольдт // Временник Пушкинской комиссии 1979, Л.: Наука, 1979.
15. Греч Н.[И.] Путевые письма из Англии, Германии и Франции. Ч. II. СПб., 1839.
16. Шаликов П.И. <Не озаглавленная корреспонденция князя П.И. Шаликова о пребывании А. Гумбольдта в Москве в 20-х числах октября 1829 г.> // Московские Ведомости, 1829, № 88, 2 ноября.
17. Переезды с Александром Гумбольдтом по Сибири (1829) (Современное частное письмо) // Русский архив. 1865.
18. Мельгунов Н.[А.] Барон Александр Гумбольдт (Из путевых записок) // Отечественные записки. 1839. Т. VI. Отд. II.
19. Перцов Н.В. Из истории русской орфографии: Письмо немецкому естествоиспытателю о пользе буквы Ъ // Русский язык в научном освещении, 2002. № 1 (3).
20. Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России. М.: Изд-во АН СССР, 1962.
21. Меньшенин Д.С. О путешествии Г. ф. Гумбольдта по России // Горный журнал. 1830. Ч. II. Кн. 5.
22. Терра Г. де. Александр Гумбольдт и его время. М.: Изд-во иностранной литературы, 1961.
23. Государственный исторический музей. Отдел письменных источников, ф. 17 (С.С. Уваров), оп. 1, ед. хр. 85.